

ВАСИЛИЙ ГРОССМАН
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК ВОЕННЫХ ЛЕТ

1941 — 1942 гг.

Публикация О. М. Губер

Записные книжки сопровождали Вас. Гроссмана на протяжении всех военных лет. Как свидетельствуют их заглавия, писатель заносил в них свои заметки и впечатления на всех путях и перепутьях войны, на всех фронтах, куда его забрасывала судьба и воля редактора: на Центральном и Брянском в 1941 г., на Юго-Западном зимой 1941/42 г., в Сталинграде и в Калмыкии в 1942 г., на Курской дуге и на Украине в 1943 г., в Одессе и в Белоруссии в 1944 г., в Варшаве, Лодзи, Познани, Шверине, Ландсберге и, наконец, в Берлине в 1945 г. Богатейший опыт военных наблюдений, накопленный Гроссманом и отразившийся в его книгах, первоначально откладывался и фиксировался в его записных книжках. Их огромное значение для изучения творчества писателя не может быть оспорено.

Записи в сохранившихся фронтовых книжках Вас. Гроссмана очень неразборчивы. Вскоре после окончания войны сам писатель продиктовал текст жене, О. М. Губер, перепечатавшей его на машинке. Эта машинописная копия и положена в основу настоящей публикации. Она содержит материал пятнадцати записных книжек — от первой, относящейся к августу — сентябрю 1941 г. и помеченной: «Центральный фронт, дорога на Брянский», до последней, озаглавленной: «Весна 1945 г. Взятие Берлина».

Ниже публикуются отдельные записи или группы записей из следующих книжек: № 2* — «Сентябрь 1941 г. Брянский фронт»; № 4 — «Записная книжка № 2. Юго-Западный фронт. Зима 1941/42 г.»; № 6 — «Поездка на Сталинград. Август 1942 г.»; № 7 — «Сталинград» (время ее заполнения не указано); № 8 — «Северо-западнее Сталинграда. Сентябрь 1942 г.»**.

Записные книжки В. С. Гроссмана публикуются в основном впервые. Запись о посещении Ясной Поляны (стр. 161—164) была напечатана им самим в «Литературной газете» (1945, № 49, 1 декабря). В машинописи текст этой записи содержит авторскую правку, относящуюся несомненно ко времени подготовки названной публикации. Мы не воспроизводим этих позднейших поправок и изменений и, в целях сохранения единства всей нашей публикации, печатаем «яснополянскую» запись в первоначальном ее виде, по «нижнему» слою машинописи.

Запись из той же книжки о старухе (стр. 160—161) появилась в «Литературной России», 1965, № 19, 7 мая (вместе с некоторыми другими записями, не вошедшими в настоящий том).

* Сплошная нумерация книжек в копии отсутствует. Для удобства обозначения мы даем каждой книжке ее порядковый номер. Книжка № 2, начатая в сентябре, включает и более поздние записи 1941 г.

** Последние записи в этой книжке относятся к декабрю 1942 г.

〈№ 2〉 ЗАПИСНАЯ КНИЖКА (вторая)

Сентябрь 1941 г. Брянский фронт

〈Октябрь 1941 г.〉

Я думал, что видел отступление, но такого я не то, что не видел, но и не представлял себе. Исход! Библия! Машины движутся в восемь рядов, вой надрывный десятков одновременно вырывающихся из грязи грузовиков. Полеом гонят огромные стада овец и коров, дальше скрипят конные обозы, тысячи подвод, крытых цветным рядном, фанерой, жестью, в них беженцы с Украины, еще дальше идут толпы пешеходов с мешками, узлами, чемоданами. Это не поток, не река, это медленное движение текущего океана, ширина этого движения сотни метров вправо и влево. Из-под навешенных на подводы балдахинов глядят белые и черные детские головы, библейские бороды еврейских старцев, платки крестьянок, шапки украинских дядьков, черноволосые еврейские девушки и женщины. Это те, кто не захотели остаться под Гитлером. А какое спокойствие в глазах, какая мудрая скорбь, какое ощущение рока, мировой катастрофы!

Вечером из-за многоярусных синих, черных и серых туч появляется солнце. Лучи его широки, огромны, они простираются от неба до земли, как на картинах Доре, изображающих грозные библейские сцены прихода на землю суровых небесных сил. В этих широких, желтых лучах движение — старцев, женщин с младенцами на руках, овечьих стад, воинов — кажется настолько величественным и трагичным, что у меня, минутами, создается полная реальность нашего переноса во времена библейских катастроф.

Ночевка за Белевом у молоденькой учительницы. Она очень хорошенькая и глупенькая, совершенная овечка: чему-то она учила, не мудрости, верно. У нее ночует подруга, такая же молоденькая, но не такая красивая. Обе всю ночь говорят шепотом, горячо спорят. Утром мы узнали: наша бросает дом и уходит на восток, подруга решила идти на запад, к родным, живущим где-то за Белевом, проще говоря, остаться с немцами. Наша просит посадить ее на грузовик, мы согласны. Я зову нашу полуторку: «Ноев ковчег» — сколько десятков людей мы уже вывезли из потопа, наступающего с запада! Обе подруги заплаканы, плакали всю ночь. Теперь все ночью плачут, а днем спокойны, безразличны, терпеливы. Укладываем вещи, наша молодая хозяйка выходит с крошечным узелком. Она не хочет брать ни зеркала, ни занавесочек, ни флакончиков одеколона, ни даже платьев.

— Мне ничего не нужно, — говорит она.

Видимо, я проглядел высшую мудрость в этой восемнадцатилетней девушке, мудрость жизни. Мы пробуем уговорить подругу. Лицо ее мертвое, губы сжаты, она молчит, не смотрит на нас. Подруги прощаются холодно, не протягивая руки. Остающаяся понимает, хоть все мы стоим рядом, что уже непроходимая чаща легла под ноги. «Заводи, пошел!» Да, нешуточные вопросы приходится решать в 18 лет!

В последнюю минуту мы заходим в милую комнатку уже сидящей в машине девушки, в ничью комнату, и чистим кремом для лица сапоги, вместо тряпочки пользуемся беленьким воротничком. По-видимому, этим мы хотим самим себе подтвердить, что рухнула жизнь.

Такой грязи никто не видел, верно: дождь, снег, жидкое бездонное болото, черное тесто, замешенное тысячами тысяч сапог, колес, гусениц. И опять все довольны: немец увязает в нашей адской осени — и в небе и на земле. Во всяком случае, мы высочили из мешка — завтра вылезем на Тульское шоссе.

Деревня под Тулой, домики кирпичные. Ночь, снег, дождь. Промерзли все отчаянно, особенно те, кто сидят в «Ноевом ковчеге»: полковой комиссар Константинов, учительница, корреспондент «Сталинского сокола»¹ Бару. Лысов, Трояновский² и я едем в «эмке» — нам теплой.

Останавливаем машины среди темной деревенской улицы. Петлюра³, маг по части добывания молока, яблок, рытья щелей и устройства ночлега, исчезает во мраке. Но на этот раз он, по-видимому, не на высоте. Мы входим в избу, холодную и темную, как могила. В избе, в холоде и мраке, сидит семидесятилетняя старуха и поет песни. Она встречает нас весело, охотно, не по-старушечьи, без кряхтения и причитаний, а судя по всему у нее есть все основания жаловаться на судьбу. История ее такая: дочь, московская фабричная работница, привезла ее в деревню к сыну, оставила и уехала обратно в Москву. Сын ее, председатель колхоза, переселил ее в эту полуразрушенную хату — сноха ни в какую не захотела жить со свекровью. Сноха же запрещает сыну помогать матери, и она живет с подаяния добрых людей. Изредка сын, тайно от жены, приносит ей то немного пшена, то картофеля. Второй сын ее, Ваня, младший, рабочий тульского завода, пошел на войну добровольцем, воюет под Смоленском, от него давно, с месяц, нет писем. Ваня ее любимец. Всю историю свою она рассказывает добродушным, спокойным голосом, без горечи, без обиды, без боли, без упрека, рассказывает как мудрец, философ, ученый, говорящий о жестоких, но естественных законах жизни. Со щедростью царицы она отдала нашей замерзшей ораве все без остатка запасы свои: десяток полешек дров, которые должны были ей хватить на неделю, горсть соли, всю без остатка, так, что у самой не осталось ни крупинки (а мы уж хорошо знаем, как бабы в деревнях жадны к соли), отдала нам полведра картошки, оставив себе не более полудесятка картофелин, отдала подушку, мешок, набитый соломой, рваное свое одеяло.

Принесла лампочку и, когда шофера хотели налить в нее бензину, не позволила этого сделать: «Вам бензин пригодится», — и принесла крошечный пузырек, где хранился у нее заветный «запас» керосину, и вылила его в лампу.

Все это сделала она с великой щедрой легкостью, великая, подлинная царица нашей земли, и, милостиво улыбнувшись нам, ушла за перегородку в холодную половину избы, одарив нас теплом, пищей, светом, мягкой постелью. Там села она и стала петь песни. Я зашел к ней:

— Бабушка, а сама в темноте, холоде и на голых досках спать ляжете? Она только рукой на меня махнула.

— Как же вы одна так, каждую ночь в темноте да в холоде?

— И что ж, сижу в темноте, песни пою или сама сказки рассказываю.

Когда сварился чугуи картошки, мы поели, отогрелись, легли, старуха пришла к нам, стала у двери и сказала: «Теперь вам песни буду петь», — и запела грубым, низким, сильным голосом, голосом не старухи, а старика.

Песни у нее не были старинные, может быть, она и такие знала, но подумала, что молодым командирам интересней слушать городские песни про любовь, про бандитов, поинтеллигентней.

Потом она сказала:

— Ох, и здорова я была — конь! — и сообщила: — Чёрт ко мне вчера приходил ночью, вцепился когтями в ладонь. Я стала молиться: «Да воскреснет бог и расточат враги его», а он внимания не обращает. Тут я его матом стала крыть. Он сразу ушел. А позавчера Ваня мой приходил, ночью. Сел на стол и в окно смотрит. Я: «Ваня, Ваня!», а он все молчит и в окно смотрит.

Если мы победим в этой страшной, жестокой войне, то оттого, что есть у нас такие великие сердца в глубине народа, праведники великой, ничего

В. С. ГРОССМАН

Фотография, декабрь 1942 г.

Собрание О. М. Губер, Москва



не жалеющей души, вот эти старухи, матери тех сыновей, что в великой простоте складывают головы «за други своя», так просто, так щедро, как эта тульская старуха, нищая старуха отдавала нам свою пищу, свет, дрова, соль. Эти сердца, как библейские праведники, освещают чудным светом своим весь наш народ, их горсть, но им победить. Это радий, который в гибели своей сообщает радиоактивные свойства массам руды.

Эта царственно щедрая нищая нас всех потрясла. Отдали ей утром все запасы наши, а шоферы, охваченные исступлением добра, ограбили всю округу, натащили ей столько дров и картофеля, что хватит до весны.

— От-то старуха, — сказал Петлюра, когда мы выехали на дорогу, и покачал головой.

Ясная Поляна. Я предлагаю заехать. «Эмка» сворачивает с шоссе, за ней «Ноев ковчег».

Среди курчавого золота осеннего парка и березового леса видны зеленые крыши и белые стены домов. Вот ворота, кто-то мне рассказывал, что Чехов, приехав сюда в первый раз, дошел до этих ворот, оробел от мысли, что увидит через несколько минут Толстого, повернул обратно и пошел на станцию, уехал в Москву.

Дорога, ведущая к дому, точно вымощена бесчисленным числом красных, оранжевых, желтых, светло-лимонных листьев — это очень красиво. Слева пруд. И о пруде этом много есть историй, и о каждой дорожке, о деревьях, о фруктовом саде, о березовой роще — все это связано с доро-

гими нам именами; кто тут ни был при жизни Толстого: Тургенев, Гаршин, Репин, Чехов... И над всем этим и сейчас Толстой, упрямо и глубоко пустивший могучие свои корни в жизнь.

В доме предотъездная злая лихорадка: со стен сняты картины, книжные шкафы пусты, со столов сняты скатерти и посуда, а в кабинете книги и журналы. Кровати стоят пустые, и с них сняты простыни, подушки, одеяла. В прихожей и в первой комнате нагромождены ящики, уже забитые, готовые к отправке.

Я бывал в Ясной Поляне в тихие, мирные времена, когда все усилия работников музея были в том, чтобы создать ощущение, иллюзию жилого дома. Стол в столовой был накрыт, перед каждым прибором лежали вилки, ножи, на столах стояли свежие цветы. И все же то был не жилой дом, а музей. Ни солонки с солью, ни перечница, ни застеленные постели, ни книги, раскрытые на столах, — ничто не могло создать ощущения жизни в доме, из которого вынесли мертвое тело Толстого. И сразу же, когда, входя в дом, надевал на ноги шитые из тряпок туфли, когда слышал постный голос экскурсовода, когда глядел на торжественные и постные лица экскурсантов, чувствовал, что хозяин умер, что хозяйка умерла, что это не дом, не жилье, а мавзолей, склеп.

И вот сейчас я почувствовал совсем по-иному, что это не музей, а жилой дом, что горе, вьюга, распахнувшая все двери в России, выгоняющая людей из обжитых домов на черные осенние дороги, судьба, не щадящая ни мирной городской квартиры, ни деревенской избы, ни заброшенного лесного хуторка, что судьба эта не помиловала и дом Толстого, что и он пустился в тяжелый путь, под дождем и снегом, по не имеющей края и конца дороге, вместе со всей страной, со всем несчастным народом. Это горе, ворвавшееся в дом, сделало его сущим, живым, страждущим среди миллионов таких же сущих, живых, страждущих домов.

И с поразительной силой я вдруг почувствовал — вот они, Лысые Горы, вот он выезжает, старый, больной князь, и все слилось в нечто совершенно единое, то, что было больше ста лет назад, и то, что идет сейчас, сегодня, и то, что описано в книге с такой силой и правдой, что кажется личной судьбой старого графа Толстого, и чего уже нельзя отделить от жизни, что стало высшей реальностью прошедшей сто лет назад войны, единственной реальностью, сохранившейся для нас, единственной правдой об ушедшем и вновь посетившем нас страдании. Семья Болконских и писавший о них свой выдуманный рассказ Толстой, та война и эта — все это стало едино. Наверное Толстой волновался и страдал, описывая горькое отступление той далекой войны, может быть, он даже заплакал, когда писал приезд Андрея Болконского и смерть старого князя, которого никто не помнил в поднявшемся урагане, которого одна лишь дочь смогла понять, когда невнятно и жалко бормотал он: «душа болит». И может быть, это волнение и горе Толстого, произошедшие в этом доме, и соединили воедино эти два горя, эти две беды, меж которыми легла пропасть столетия. Иначе отчего же с такой силой все это ударило по сердцу? Едина, непрерывна жизнь народа, как жизнь отдельного, одного человека; мы, приходящие на краткие годы, не видим, не ощущаем этого, мы видим отдельные звенья, а не вечную, длящуюся без разрыва в прошлое и в будущее цепь. А в большом сердце Толстого вдруг соединились все звенья тяжелой этой цепи.

И когда вышла Софья Андреевна ⁴, накинув на плечи пальто, женщина с лицом своего деда, вышла, поживаясь от холода, спокойная и удрученная, прошла по комнатам, вышла со мной в сад, то я снова не мог различить, кто она — княжна ли Марья, в последний раз идущая перед приходом французов по саду в Лысых Горах, внучка ли старого графа Толстого, которой судьба определила своим сердцем и своей душой про-



МУЗЕЙ-УСАДЬБА Л. Н. ТОЛСТОГО «ЯСНАЯ ПОЛЯНА» ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ ФАШИСТОВ

Фотография, 1942

Собрание Д. И. Ортенберга, Москва

верить, уходя из Ясной Поляны, всю ту правду, что сказал ее дед о Маше Болконской. Но, конечно, ни о чем таком мы не стали говорить. Мы говорили о том, что секретарь обкома обещал дать вагоны для вывоза вещей, и удастся ли это сделать теперь, когда немцы так близко и так стремительно движутся вперед. Мы вспомнили Москву и друзей, которых уже нет, и помолчали, думая о их печальной судьбе. Потом с печалью мы говорили о том, о чем говорят все, с болью, с недоумением, со скорбью, — об отступлении.

— Пойдемте на могилу, — сказала Софья Андреевна.

Не знаю, можно ли это рассказать... Сырая, вязкая земля, сырой, недобрый воздух, тишина, шуршание чуть слышное листьев. Дорога показалась необычайно длинной, надпись на дереве: «Зона тишины». И вот могила. Это чувство очень трудно передать, пожалуй, нельзя, оттого, наверное, что это чувство трудно чувствовать, его, может быть, невозможно чувствовать, такое оно трудное, не вмещающееся в человека. Это чувство объединения смерти и жизни, одиночества мертвого и его связи, живой и нерушимой, со всей нашей горькой сегодняшней жизнью, забытости этого засыпанного сухими кленовыми листьями холмика земли и живой, жгучей памяти, нужной и необходимой, памяти об этой могиле, которая стучит в наши души. Но это чувство не чувство гармонии, это чувство колющего противоречия, чувство муки, бессилия примирить то, чего и бог не имеет силы примирить. И просто ужасно думать, что через несколько дней к этой могиле, громко разговаривая, подойдут немецкие офицеры, покурят тут, громко поговорят, не дай бог Толстой услышит, и никто уж из близких не подойдет, не помолчит, как мы сейчас молчим. Кажется, взял бы и понес на руках, но ведь нельзя, этот покой и одиночество святы.

И вдруг воздух наполняется диким воем, гудением, свистом — это над могилой идут на бомбежку Тулы «юнкерсы» в сопровождении десятков «мессершмиттов». А через минуту с севера слышен треск, десятки наших

зенитных пушек бьют по немцам, трещат пулеметные очереди «мессеров», и земля дрожит, колеблется, чугунно ухают бомбы, которые сваливают «юнкеры». А мы молча возвращаемся, как молча пришли и стояли здесь. Прощаемся, Софья Андреевна целует меня в лоб, и я целую ей руку — и заплакал.

Тула охвачена той смертной лихорадкой, мучительной, ужасной лихорадкой, что видели мы в Гомеле, Чернигове, Глухове, Орле, Волхове... Неужели и Тула? Полный ералаш. В столовой военторга меня разыскивает командир, меня просят зайти в обком, там находится представитель Генштаба, он хочет узнать у меня, где штаб Брянского фронта, он должен направлять части и не знает, где штаб.

Приходят обрывки дивизий, говорят 50 армия вся не вышла. Где Петров и Шляпин? ⁵ Где девочка-санитарка Валя, игравшая с нами в домино и заводившая «Синенький, скромный платочек»?

Улицы полны народа, идут по тротуарам, идут по мостовым, и все равно тесно. Все тащат узлы, корзины, чемоданы.

Заняли номер в гостинице. В гостинице встречаем всех корреспондентов. Тут и Крылов, с которым драпали с Центрального фронта. Корреспонденты уже обжились в гостинице, некоторые завязали блиц-романы. Простились с Константиновым — он из Тулы на Москву поездом, простились с нашей спутницей-учительницей, чьим кремом и воротничками мы чистили сапоги. Ночью наш грузовик в последний раз выполняет функцию Ноева ковчега — перевозим семьи работников тульской редакции с вещами на вокзал. «Надо бы с них деньги взять», — сердится Петлюра, но водитель ковчега Сережа Васильев против — он замечательно душевный, милый и скромный парень.

Ночью связались по телефону с редакцией, редактор приказал ехать в Москву. Нас охватило неразумное, жгучее счастье. Всю ночь не спал — неужели увижу Москву?

〈№ 4〉 ЗАПИСНАЯ КНИЖКА № 2

Юго-Западный фронт. Зима 1941/42 г.

Дивизия полковника Зиновьева ⁶.

Зиновьев — Герой Советского Союза, 1905 г. рождения, крестьянин. «Я мужик», — говорит он о себе. В 1927 г. пошел в Красную Армию, служил в Средней Азии в пограничных войсках. Во время финской кампании командовал ротой. 57 дней был в окружении. Там получил звание Героя Советского Союза. Зиновьев рассказывает:

— Самое страшное, когда ползут они, бьешь по ним из пулеметов, бьешь их минами, артиллерией, кричишь на них, а они ползут, ползут, ползут! Вот теперь я так своих красноармейцев убеждаю — ползите!

Он окончил академию, но говорит трудно, теряется, смущается, стесняется своей простоты.

Дивизия шахтерская. Сплошь шахтеры из Донбасса. Немцы зовут ее «Черная дивизия». Шахтеры не хотели отступать. «За Северный Донец ни одного немца не пустим!» Красноармейцы-шахтеры говорят о командире дивизии — «Наш Чапаев». В первом бою 100 немецких танков атаковали дивизию — шахтеры отразили атаку. При прорыве фланга дивизии Зиновьев верхом промчался перед передним краем с криком:

— Вперед, шахтеры!

— Шахтеры назад не идут! — закричали красноармейцы.

Бойцы спят в лесу при морозе 35 градусов. Они не боятся танков, привыкли к врубовым машинам. «В шахте страшней», — говорят шахте-

ры. Зиновьев говорит, что главный человек на войне — красноармеец, «ведь он кладет свою жизнь, ведь он в 35-градусный мороз спит на снегу. А отдать жизнь не легко, жить всем хочется, и героям жить хочется. Завоевывать авторитет нужно каждодневным общением с бойцом, каждодневной беседой с ним, боец должен не только знать задачу, но и понимать задачу. С бойцом нужно и беседовать, и спеть, и сплясать. Но авторитет у командира должен быть не дешевый, а дорогой. И командир отделения, и взвода, и роты, и батальона, и полка должны каждый день, каждый час завоевывать свой дорогой авторитет у бойца. Этому, — говорит Зиновьев, — меня научила служба в пограничных частях. Когда боец верит — он все исполнит и пойдет на смерть. Надо бы городок занять, надо бы дорогу перерезать — и знаю, займут, перережут».

〈№ 6〉 ПОЕЗДКА НА СТАЛИНГРАД

Август 1942 г.

Выехали из Москвы 23 августа.

Девушка на шоссе — загоревшая, нос с горбинкой, дерзкие глаза.

— Кто вам нравится — полковники?

— Ну да.

— Кубари? лейтенанты?

— Мне лейтенанты на нервы действуют. Бойцы рядовые мне нравятся.

Голубое, пепельное шоссе.

«Водитель, скорей доставь груз фронту».

Бабы царство. Бабы, бабы, бабы. В поле, на тракторе, на велосипеде. в очереди за водкой.

Девки, подвыпившие, с гармошкой, ходят с песней — провожают подруг в армию.

Красивая Меча: несказанная прелесть этих мест. Яблоневый сад. Рассвет. Холмы. Красивая Меча. Рябины. Грозди рябины, ежели поднять их ладонью — словно прохладные девичьи груди.

Плач ночной по корове, упавшей в противотанковый ров. При синем свете желтой луны.

Бабы воют — «четверо детей осталось». Словно мать потеряли дети. Мужик бежит в синем лунном свете с ножом спускать корове кровь. Утром кипит котел. У всех сытые лица, заплаканные глаза, опухшие веки.

Милый город Лебедянь. Большая улица, обсаженная низенькими приземистыми деревьями.

Ясная Поляна — 83 немца лежали рядом с Толстым. Их откопали и зарыли в воронки от фугасных бомб, которые бросали немцы.

Очень пышны цветы перед домом — ясное лето, вот, кажется, жизнь полная меда и покоя.

Могила Толстого — тоже цветы, пчелы ползают по цветам, маленькие осы висят неподвижно над ней. А в Ясной Поляне погиб от мороза большой фруктовый сад. Погиб весь — сухие яблони стоят серые, скучные, мертвые, как могильные кресты.

Бабы деревни.

На них навалилась огромная тяжесть всего труда.

Нюшка — чугунная, озорная, гулящая. Говорит: «Э, теперь война, я уже восемнадцати отпустила, как муж ушел. Мы корову втроем держим, а она только мне доить дает, а двух других за хозяйку не хочет признавать». Она смеется: «Бабу теперь легче уговорить, чем корову». Она усмехается,

просто и добродушно предлагает любовь. Не прочь обменять масло на рубаху, купить пол-литра у военных.

Хозяйка на следующую ночь. Сама чистота. Отвергает всякий похабный разговор. Ночью в темноте доверчиво рассказывает о хозяйстве, о работе, приносит показать цыплят, смеется, говорит о детях, муже, войне. И все подчиняются ее чистой простой душе.

Вот так и идет бабья жизнь, в тылу и на фронте — две струи, чистая, светлая и темная, военная — «Э, теперь война».

Старик смеялся, пока немец ел его сало, думал: немец у кого-то другого взял; а сало было стариковское, немец украл.

Добродушие населения нашего.

Такой тяжести не знаю, кто по силам способен носить.

Трагическая пустота деревень.

Девочек везут, они плачут, плачут матери — дочек в армию берут.

Огромность пространства: едем четыре дня. Уже другое время — на час вперед. Другая степь, другие птицы — коршуны, совы, ястребы. Вот уже и дыни и арбузы появились. А горе одно.

Старуха ходит сторожить колхозные амбары, ночью вооружена сковородником. Кричит, когда кто-нибудь идет: «Стой, кто идет? Стрелять буду!»

Женщины и худые девушки роют на дороге.

— Откуда вы?

— Мы из Гомеля.

— И мы под Гомелем воевали.

Переглянулись и помолчали. Страшновато стало от этой встречи в 40 километрах от Волги в деревне Мокрая Ольховка.

Генерал Гордов командовал Приволжским военным округом. Воевал в Западной Белоруссии, сейчас он командует на Волге. Война на Волге идет.

Страшное чувство глубокого ножа от этой войны на границе Казахстана, на Нижней Волге.

Женщина — доминанта. Она делает половину огромного дела и делает так, что есть у нас хлеб, самолеты, оружие, припасы. Она нас теперь кормит, она нас вооружает. А мы, мужчины, делаем вторую половину дела — воюем. И воюем плохо. Мы уже на Волге. Женщина смотрит, молчит, но нет в ней укора, нет у нее горького слова. Или затаила. Или понимает она, что страшна тяжесть войны, пусть и неудачной войны.

Село Лебяжье. Хмурое утро, дождь. Проснулись. Через 15 километров Волга.

Похоже на Чистополь. Страшно и странно.

Волга. Переправа. Сияющий день. Огромность реки, медленность, величие, Волга, словом.

На барже машины с авиабомбами. В воздухе самолеты, потрескивают пулеметные очереди. А Волга медленна, беспечна. И мальчишки, сидя на этой огнедышащей барже, ловят рыбу.

Прилет. В воздухе рев моторов, сумятица. «Кобры», «яки», «харрикейны». Появляется огромный, плавный «дуглас». Истребители неистовствуют, нюхают, бегут его следом. Он ищет площадки, а они пляшут во все стороны. Сел. Истребители вокруг него и над ним. Величественно выглядит эта картина. Живые кадры из кино. (Степь и Волга.)

Красноармейцы, глядя на эту картину прилета, рассуждают. Один: «Ну словно пчелы, что это они носятся!» Второй: «Бахчу стерегут видно». Третий, глядя на появившийся «дуглас»: «Не иначе ефрейтор с нашей роты прилетел».

Сталинград сгорел. Писать пришлось бы слишком много. Сталинград сгорел. Сгорел Сталинград.

Заволжье. Пыль. Коричневая пыль. Ужи, раздавленные на дорогах. Реполовы. Верблюды. Крик верблюдов.

Степь многотравная.

Осенью жалкий ковыль, бурьян, полынь.

Сталинград.

Мертво. Люди в подвалах. Все сожжено. Горячие стены домов, словно тела умерших в страшном жару и неуспевшие остыть.

Огромные здания, памятники, скверы. Надписи: «Переходи здесь». Груды проводов, на окне спит кошка, зелень в вазонах. Среди тысяч громадин из камня, сгоревших и полуразрушенных, чудесно стоит деревянный павильон, киоск, где продавалась газированная вода. Слово Помпея, застигнутая гибелью в день полной жизни. Трамвай, машины без стекол. Сгоревшие дома с мемориальными досками: «Здесь выступал в 1919 году И. В. Сталин». Здание детской больницы, на нем гипсовая птица с отбитым крылом, второе простерто для полета. Дворец культуры — черное, бархатное от копоты здание и на этом фоне две белоснежных нагих фигуры.

Бродят дети — много смеющихся лиц, много полусумасшедших. Закат на площади. Страшная и странная красота: нежно-розовое небо глядит через тысячи и десятки тысяч пустых окон и крыш. Огромный плакат в бездарных красках — «Светлый путь».

Чувство покоя — после долгих мук. Город умер, словно лицо мертвого, перенесшего тяжелую болезнь и успокоившегося вечным сном. И снова бомбежки, бомбежки уже умершего города.

Колхозница Рубцова.

— Где муж ваш?

— Не, не нужно, — шепотом говорит мальчик Сережа, — не расстраивайте маму.

— Отвоевался, — говорит она. Он убит в феврале, пришло извещение.

Рассказ ее о трусах: немец, как копы, пошел вниз. Тут его и бить, а герои все в бурьян полегли. Эх вы, — кричу им.

Вели пленного через село — я спрашиваю: когда пошел воевать? В январе. — «Ну, значит, ты моего мужа убил», замахнулась я, а часовой не пускает. «Пусти, говорю, я его двину», а часовой: «Закона нет такого». «Пусти, я его двину без закона и отойду». Не пустил.

При немцах — живут, конечно, но для меня это не жизнь будет. Как мужа убили, у меня теперь один Сережа остался. При Советской власти он у меня в большие люди выйдет, а при немцах ему пастухом умирать.

Раненые воруют у нас сильно, терпения нет. Всю картошку вырыли, помидоры, тыквы— всё очистили, нам теперь голодать зиму. В квартирах чистят — платки, полотенце, одеяла. Козу зарезали, но все равно жалко их; придет, плачет — и отдашь ему свой ужин и сама плачешь.

Бабка:

— Пустили его дурачки вглубь, на Волгу, отдали пол-России. Ясно — техники у него много.

Жуткая переправа. Страх. Паром полон машин, подвод, сотни прижатых друг к другу людей, и паром застрял, в высоте Ю-88, пустил бомбу. Огромный столб воды, прямой, голубовато-белый. Чувство страха. На переправе ни одного пулемета, ни одной зениточки. Тихая светлая Волга кажется жуткой, как эшафот.

Живем мы в доме раскулаченного. Только смотрим — явилась откуда-то старая хозяйка. День и ночь на нас смотрит и молчит. Ждет. Так мы и живем под ее взорами.

Ночью в Сталинграде. У переправы ждут машин. Темно. Горят вдали пожары. Тяжело поднимается в гору подкрепление, переправившееся через Волгу. Мимо нас проходят двое. Слышу боец говорит: «Легкари, торопятся жить».

«Летит!» — все сидят.

«Разворачивается!» — все бегут из избы на улицу, смотрят вверх.

По степи солдат с противотанковым ружьем гонит большущее овечье стадо.

Старик, у которого ночевали: «У меня четыре сына на войне, четыре зятя, четыре внука. Один сын готов. Прислали».

Всю ночь старуха сидит в щели. Вся Дубовка в щелях. Сверху летает «керосинка» — трещит, ставит свечи и бомбит маленькими.

— Где бабушка?

— Бабушка в окопе, — смеется старик, — поднимет голову, как суслик, и назад.

— Конец нам. Дошел он, жулик, до коренной нашей земли.

Всю ночь над головой рев самолетов. Небо гудит день и ночь, словно сидишь под пролетом огромного моста. Этот мост днем голубой, ночью темно-синий, крутой, в звездах — и по этому мосту с грохотом едут колонны пятитонных грузовиков.

Огневые позиции над Волгой, в бывшем доме отдыха. Крутой обрыв. Река синяя, розовая, как море. Виноградники, тополи. Батареи замаскированы виноградными листьями. Скамейки для отдыхающих. На скамье лейтенант, перед ним столик. Он кричит: «Батарея — огонь!»

А дальше степь — с Волги прохлада, а степь пахнет теплом.

В воздухе «мессера». Часовой кричит: «Воздух!», — а воздух чистый и то теплый, то прохладный, и пахнет полынью.

«СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

Одно из первых изданий очерка

В. С. Гроссмана.

М., Госполитиздат, 1943

Обложка

Вас. ГРОССМАН



СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА



Самым берегом у воды идут раненые в окровавленных бинтах, над розовой вечерней Волгой сидят голые люди и бьют вшей в белье. Ревут тягачи, скрежещут по прибрежному камню.

А потом звезды, ночь, и лишь белеет церковь в Заволжье.

Телеграфный столб в степи. Если долго лежать под ним, то слышишь музыку — очень разнообразную и сложную. Столб наливается ветром и поет. Столб, словно вскипающий самовар, шкворчит, свистит, булькает. Это столб посреди степи. Столб сухой, высушенный солнцем. Он, как скрипичное дерево, на нем струны — провода, и вот степь завела себе такую скрипку, играет на ней.

Ясное, прохладное утро в Дубовке.

Удар, стекла, штукатурка, пыль, мгла в воздухе. Над Волгой крик, плач. Немец убил бомбой семь женщин и детей. Девушка в ярко-желтом платье кричит: «Мама, мама!..»

Воеет по-бабы мужчина, его жене оторвало руку. Она говорит спокойно, сонная.

Женщине, больной брюшным тифом, осколок попал в живот — она еще не умерла. Едут подводы, с них капает кровь. И крик, плач над Волгой.

За забором колышется колодезный журавль, и кажется — колышется мачта.

Сталинград.

Идущие дивизии: Лица людей. ПТР, артиллерия, танки — Суворов и Невский. Идущие днем и ночью. Лица, лица — их серьезность, смертные лица.

Дивизия Сараева — Капранов, Савчук. Начальник штаба с бородкой, молчаливый и молитвенно исполнительный.

Дивизия Гуртьева — направление главного удара. Начальник штаба Тарасов — маленький, простой и умный мужичок. Свириин — комиссар. Родимцев — Борисов.

На поле боя рядом убитый румын и наш. У румына лист бумаги и детский рисунок: зайчик и пароход.

У нашего письма:

«Добрый день, а может быть и вечер. Здравствуйте, тятя...» А конец письма: «Приезжайте, тятя, а то без вас приходишь домой, как на фатеру. Я без вас шибко скучаю. Приезжайте, хоть один час на вас посмотреть. Пишу, а слезы градом льются. Писала дочь Нина».

〈№ 7〉 ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Сталинград

Город Сталинград, последние числа августа, начало сентября, после пожара.

Переправа в Сталинград. На старте для храбрости Высокоостровский, Коротеев, Коломейцев и я выпили в совхозе на Левобережье непомерное количество яблочного вина. Больше всех усердствовал Высокоостровский, на катере «съездил в ригу». Над Волгой воют мессера, Волга в тумане и дыму, непрерывно жгут дымовые шашки, чтобы маскировать переправу.

Сгоревший мертвый город, площадь Павших бойцов. Надписи на памятниках: «Пролетариат Красного Царицына борцам за свободу, погибшим в 1919 году от рук врангелевских палачей». «Здесь похоронены 54 героических защитника Красного Царицына, зверски замученных и повешенных Врангелем в 1919 году».

В подворотне на груди вещей жители сгоревшего дома едят щи. Валется книжка «Униженные и оскорбленные». Капустинский сказал этим людям: «Вы тоже униженные и оскорбленные».

Девушка: «Мы оскорбленные, но не униженные».

«Баррикады» в ночь с 23 на 24 августа продолжали работу. 300 человек пошли в рабочие батальоны. Примерно столько же с Тракторного.

«Баррикады» дали в эту ночь 150 пушек. Гонор руководил работой. Отбор людей производили Гонор и парторг Ломакин. Сомова — секретарь Тракторозаводского райкома — руководила, держала связь. 24 августа было выпущено шесть-восемь танков.

Варапоново — там, где старые окопы, заросшие травой, где шли самые кровопролитные бои гражданской войны, — здесь вновь самый тяжелый напор врага.

70—80 танков пущено из ремонта в течение 24—25 августа.

Комиссар рабочего батальона Сазыкин с «Красного Октября». Из 80 осталось 35 человек, на подступах к Тракторному — автоматы и винтовки.

Танки переданы были армии.

Первые рабочие батальоны дрались с 25 августа по 2 сентября.

Юго-западнее Сталинграда.

Расчет сержанта Апанасенко и расчет Кирилла Гетьмана — на них двигались 30 танков. Выдвинулись на открытую позицию и стали бить по танкам. В это время налетели самолеты, но они продолжали стрелять. Командир огневого взвода упал. Апанасенко взял командование на себя. Хорошо действовал наводчик Матвей Пироженко, подбивший танк со второго снаряда.

Донбассовский пролетарий Ляхов, красноармеец мотострелкового батальона танковой бригады, написал перед наступлением командованию: «Третий раз получил приказ о наступлении на разъезд, сегодня разъезд возьмем или умрем. Враг многочисленнее нас, но будь он сильнее хоть в пять или даже десять раз — разъезд будет наш. Если умру, считайте меня коммунистом».

Боец застрелил другого, который выносил раненого и поднял руки перед врагом. Боец после этого сам вытащил брошенного раненого. Отец ему дал, прощаясь, полотенце, которое мать вышивала невестой, и свои четыре креста за германскую войну.

Район Тракторного.

Подполковник Герман, командир зенитного арtpолка, стоял на северной окраине Сталинграда. 23-го вечером к Тракторному подошли около 80 немецких танков, двумя колоннами, и много машин с пехотой. У Германа много девушек — прибористы, дальномерщицы, стереоскописты, разведчицы. Одновременно массированный налет авиации. Часть батарей била по танкам, часть — по самолетам. Когда танки подошли к батарее Скакуна вплотную, то Скакун, командир батареи, старший лейтенант, стал бить по танкам. Его атаковали самолеты. Он приказал двум пушкам бить по танкам, двум — по самолетам. Связи с батареей не было. «Ну, накрылись!» — думает Герман. Грохот. Снова молчание. «Ну, накрылись!» Опять огонь. Лишь 24-го вечером вернулись четыре человека, вытащившие на плащ-палатке раненого тяжело Скакуна. Девушки погибли у орудий.

Батарея Гольфмана дралась двое суток немецким оружием. «Кто вы, пехота или артиллерия?» — «И то и другое».

Раненого Гольфмана заменил младший лейтенант Левченко, командир взвода управления.

Истребительная танковая бригада подполковника Горелика стояла на отдыхе в районе Тракторного, внезапно ворвались танки. «Немцы! Немцы!» Разведка. Головной танк в немецкой колонне был наш КВ.

Зенитчики получили приказ отойти, но пушек не смогли отвести. Тогда многие остались. Командир огневого взвода Труханов, лейтенант, остался, выстрелил в упор, работая за номера, подбил танк и погиб.

Прорыв танковой дивизии, мотопехота.

Станция Варапоново — большие бои. Станция Гумрак — большие бои.

Родимцев говорит: «По всей реке ездили, собирали. Теперь имеем целый флот, 27 лодок рыбацких, моторки, подняли со дна Волги катер, но он погиб от прямого попадания. Дивизия обеспечена полностью — горячая пища, смена белья, шоколад, сгущенное молоко. Раненные эвакуируются образцово. Трехдневные запасы. Людское пополнение — „черненькие“ (узбеки). В составе дивизии 400 человек фундаторов, десантников, вы их легко узнаете по орденам. Возраст от 25 до 30 лет. Бойцы имеют сухой паек „НЗ“ на трое суток...» *〈Далее запись утеряна.〉*

«Товарищ Ортенберг, только что вернулся из Сталинграда, куда переправился с большими приключениями, поехал с хода...»⁷

Генерал Родимцев: «Красноармеец Чехов убил 35 фашистов, я ему хотел дать отпуск, так как он жизнь свою окупил».

За бои 60 танков, 2000 убитых.

Наступательные операции сменялись снайперским огнем. Гибкая война.

Захват дома. Группа захвата в 10 человек, бутылки. Группа закрепления, боеприпасы, продовольствия на шесть дней, окопы на случай окружения.

Дивизия расселилась по домам в шахматном порядке с немцами. Четверо держались 14 дней, два пришли за продуктами, два остались сторожить дом.

Разведка очень затруднена.

Настроение — усталость, но хорошее.

Вши — достали примуса, утюги и выбивают.

Живут в подвалах, квартирах, в окопах.

Во время танковой атаки подбили 42 танка.

Наступало два полка пехоты и 70 танков на полк подполковника Панихина.

Выбыли все расчеты ПТО, до последнего человека.

Люди, люди, люди — золото.

Первый этап — перешли в наступление на вышедшего к реке немца. Взяли Мамаев Курган, в день по 10—15 атак.

Техника у меня блестящая... *⟨Далее запись утеряна.⟩*

«Тов. Ортенберг. Одиннадцатого утром приехал с Высокоостровским, а ночью переправился в Сталинград. Подробно говорил с бойцами, командирами, генералом Родимцевым».

⟨№ 8⟩ ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Северо-западнее Сталинграда. Сентябрь 1942 г.

СталГРЭС прекратил работу 4 ноября. 7 ноября исполняется XII годовщина *⟨пуска электростанции⟩*:

Андреев, начальник бюро пропусков. Павел Андреевич, вижу с бойцом, боец очень волнуется. Я ему — зачем волнуешься, ты не волнуйся. Отбоябил — он говорит: «Ох и крепок ты, Павел Андреевич».

Как он выдавал пропуска, аккуратно подчистил.

Сварщик Косенко так варил, что люди приезжали с фронта и просили чинить «катюши» — у вас лучше, чем на фронте.

Два танка примчались с фронта: «Скорее, нам в бой» — зачинили и ушли в бой. В тот же день пять пушек отремонтировали. Этим делом занимались четыре человека. Слесарь, кузнец, токарь, сварщик — Поцелуйкин, Забиркин, Белоусов, Косенко и мастер, он же начальник цеха, слесарь Солянинков.

Тов. Крыжановский — начальник турбинного цеха.

По территории 500 снарядов, бомб около 80 — 4 ноября. И еще 20 — 5-го и 16 — в августе.

«Жизнь постепенно останавливается, — говорит Николаев, — вот и часы стали».

Солянинков: «Я еще строительством занимался в 1930, здесь я вырос, стал мастером ОТК, а в последнее время работал на все руки. Бомбежки переносили в щели. Ну, снаряды, это мы работали, не обращали внимания. Шесть «катюш», больше двух десятков танков, один большой. Полтысячи подков сделали, создавали мастерские, кухни ремонтировали — до 10, одной специально дно вставляли. Зениткам досылатели делали. Ремонтировали «максимы», американские пулеметы. Работали днем и ночью — я в последнее время и начальником, и токарем, и фрезеровщиком, и всем».

Никто не выходил из оборонительных боев. Гибли на месте. Кульминация боев 17 октября.

17—18—19-го бомбили день и ночь. Кроме того «ванюши», артиллерия и немцы пошли в наступление двумя полками.

Сразу же танки — тяжелые и средние, за ними пехота. Наступление началось в 5 утра. В течение целого дня бой. На правом фланге был заслон учебного батальона и отдельная рота. С фланга они прорвались, отрезали полки от командиров.

Полки, сидя в домах, вели бои в домах до двух-трех суток, а командиры приняли бой — тоже дрались. Танкист камнями отбивался от немцев, когда не было боеприпасов. Командир 7 роты с 12 людьми в овраге уло-



«ЗДЕСЬ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ»
Рисунок К. И. Финогенова (итал.
Третьяковская)

жил роту немцев и ночью вышел. Занимаем дом, нас 20 человек, гранатный бой, бой за этаж, бой за ступеньки, за коридоры, за метры комнат (вершки, как версты, человек — полк, каждый себе штаб, связь, огонь). Калинин — помначштаба полка — убил 27 человек, <подбил> четыре танка из ПТР. На заводе было 80 рабочих и рота охраны (в северо-западной части завода), от них осталось три-четыре человека. Военского умения никакого у них не было. Командир — молодой рабочий-коммунист, лет 30, на рабочих навалилось до полка.

23—24-го бои пошли на заводе. Цеха горели, железные дороги, шоссе, зеленые насаждения. Бойцы сидели в 1, 3, 15 цехах, сидели в туннелях, трубах, ходили на разведку, бой шел в трубе.

В КП на заводе Кушнарев, начштаба Дятленко сидели в трубе. С шестью автоматчиками имели два ящика гранат. Отбились.

Немцы ввели танки на завод, цехи переходили из рук в руки по нескольку раз, танки их разрушили прямой наводкой. Авиация бомбила и день и ночь.

С 26 по 31 октября шли сильные бои, командир полка стрелял из миномета. Много гранат.



ГВАРДЕЙЦЫ РОДИМЦЕВА»
 карандаш). Сталинград, 1943
 галерея, Москва

27-го. Немец-учитель, пленный, говорил о жестоком приказе выйти к Волге. Черные руки, вши в волосах и голове. Пленный зарыдал.

1-го наступал полк, они доходили до 15 метров, начинали окапываться, и их всех покроемтали.

Идет первый эшелон, второй, третий. В этот день было отражено 13 атак. Рвались к переправе. Огромная роль нашей артиллерии.

1-го числа 4 артполка и «катюши» в течение получаса вели огонь по площади 500 метров. Все замерло, немцы замерли — все смотрели и слушали.

Командиры дивизионов вместе с командирами полков и батальонов. Немцы находились на окраине завода — это было днем 2-го числа. Часть легла, часть бежала. Казах вел троих пленных, его ранило — он выхватил нож и зарезал троих немцев.

(Михалев К. П. отражал два раза, после него Кушнарев — еще два раза. Чамов — до 10 раз. И танки и пехота).

Танкист, здоровый рыжий парень, перед КП Чамова выскочил из танка, когда иссякли снаряды, схватил кирпичи и, матерясь, кинулся на немцев. Немцы побежали.

Михалев, Барковский, начштаба Мирохин — погибли, все посмертно награждены.

Командир батальона Шенин — сбил самолет, уничтожил танк.

Капитан Сергиенко: «Чамов ведет себя героически».

Автоматчика Колосова засыпало землей по грудь, он сидит и смеется: «А меня зло берет».

Командир взвода связи Хансицкий сидит у блиндажа, читает книжку, дикая бомбежка. Гургьев рассердился:

— Что это вы.

— Да что же делать, бомбит, а я читаю книжку.

Химик, офицер связи Батраков — в очках, черный, ходил каждый день 10—15 километров. Придет, протрет очки, даст обстановку и идет. Ходит точно, в одно и то же время. Инженер, не торопится, медлителен.

Наши девушки с термосами за плечами, несут завтрак. Как раненых выносили. С огромной любовью говорят о них. Девушки не окапывались. Леля Новикова веселая, пела «она ж ничего не боялась» — санитарка, две пули в голову.

Михалева очень любили. Он ко всему прочему симпатичнейший человек, серьезный, смелый, заботливый. Теперь, когда спрашиваешь:

— Ну как?

— Что ж как, эх, живем без отца.

«Он очень умелый командир, дорогой командир. Жалел своих людей, берёг».

Балка — большая сила, особенно здесь в Сталинграде. Хороший подступ, узкая, глубокая. В ней КП минометной части. Она всегда под огнем, в ней погибло много людей. В ней провода, таскали огнеприпасы. Авиация и минометы сравнивали ее с землей. Там и Чамова засыпало, откопали. По ней шли шпионы.

Бои в балке — сверху гранатой, в балке рукопашная, к батарее Андреева (минометной) подошли вплотную, и он вел с ними рукопашный бой.

12 и 13-го тихо, но мы понимали эту тишину.

14-го он бил «ванюшей» по КП дивизии. Тогда завалило, мы ушли. Мы имели по 13—15 человек потерь на КП дивизии. Звук глухой у термитного снаряда, бьет в уши. Вначале скрипящий: «Ну, Гитлер заиграл», успеешь спрятаться. Владимирский хотел оправиться — до вечера страдал так, что хотел взять у бойца котелок.

Богатство опыта.

Опорный пункт — огонь и снизу и сверху, ходы сообщения, траншеи, «усы», чтобы подбираться к тяжелым танкам.

Граната, автомат, 45 мм пушка.

«Пошли 30 танков, мы испугались, ведь в первый раз. Но ни один не побежал».

Мы заставляли стрелять по броне, елозили танками по глубоким щелям. Красноармеец вылезал и смеялся: «Рой поглубже, буквой Г».

Удары концентрированные немцев.

Быт. Были бани, питание горячее два раза в день. Боец сказал: «Есть всё — и хлеб, и обед — да не до еды, товарищ комиссар».

Почтальоны — Макаревич, с бородкой, сельский, с сумочкой — конвертики, открытки, письма, газетки. Карнаухов ранен. Всего трое ранено, один убит..

Начальник штаба полковник Тарасов: «Танкисты боялись, что мы не пойдем за танками, а мы пошли и вырвались впереди танков».

Ривкин — командир саперного батальона. Лодочная переправа, 15 плотов. Устройство опорного пункта на «Баррикадах» — амбразуры в стенах, ходы сообщения, круговая оборона, минирование, стрелковые ячейки для стрелков (почва в Сталинграде очень твердая). Вперед от цеха выносились ходы сообщения. До 1500 м, около противника в 30—50 метрах, перед рассветом, когда темно, шёпотом говорили. Маскировали в условиях города — под кучку камней, под бревнышко, в ямку. На заводе взламывали асфальт, камень.

Реухов, младший командир, носил мины под автоматным огнем. Подносит за 6—8 километров на расстояние 150 метров. Само минирование быстро. Само минирование 40 минут.

Подрывали дзот — в нем два пулемета и 15 немцев. Лейтенант Краснов и два бойца, Селезнев и Юдин, взяли 50 кг и залегли в 50 метрах и сутки наблюдали, там работала мотопила. С темнотой влезли на дзот. Перед рассветом двое немцев вышли, не заметили. Зажгли шнур и отбежали.

«Мы заняли оборону в районе „Баррикад“. Мы выслали туда 20 человек с младшим лейтенантом Павловым, его убило, принял команду сержант Брисин. После первого дня их осталось 10.

Наступало на них две роты немцев. Брисин подполз, разведал: два пулемета, приполз с бойцами и уничтожил два расчета. Пулеметы утащили. Так же уничтожил минометный расчет. Он влез в немецкий дом, пробрался на второй этаж и сбросил 10 гранат, потом связал две плащ-палатки и вылез в окно».

Косиченко раненый выдергивал зубами чеку из гранаты.

Девушки. «Лысячук Нина — ранена. Бородина Катя — перебило правую руку. Егорова Антонина — она убита, она пошла за взводом в атаку, санитарка, ей автоматчик перебил обе ноги, и она истекла кровью. Арканова Тоня — сопровождала раненых бойцов и пропала без вести. Канышева Галя — погибла при прямом попадании бомбы. Коляда Вера — погибла вместе с Канышевой. А мы двое с Зоей остались. Я, Костерина Надя, и Зоя Калганова. Я была ранена в плечо, она была ранена осколком мины у блиндажа, а затем осколком бомбы у переправы. Учились в школе № 13 в Тобольске. Мамы плакали: „Да как вы там пойдете, там мужчины“. Мы войну себе совсем не так представляли, как на самом деле».

«Наш батальон был в авангарде полка, пошел в бой в 10 утра. Хотя было страшно, но нам было очень интересно. Из 18 девушек осталось 3. Я очень долго боялась мертвецов, а раз ночью я спряталась за мертвеца, пока строчил автоматчик, я лежала за ним. Первый день я боялась крови, и кушать не хотелось, и перед глазами представлялось. Мы шли восемь

суток 120 километров не спавши, не евши. Мне представлялась война — все горит, дети плачут, кошки бегают. И когда мы попали в Сталинград, все так и было, как я представляла».

«Мы чистили с поваром картошку, увлеклись разговором, о бойцах говорили. Все покрылось дымом, и повара убило, а через несколько минут подошел лейтенант, разорвалась мина, и его и меня ранило.

Особенно страшно ночью ходить — немцы неподалеку кричат, горит все. Носить раненых очень тяжело, мы заставляли бойцов носить. Я плакала под Котлубанью, когда налетело 40 самолетов, с сиренами, а окоп был мелкий, мы накроемся плащ-палатками и лежим. Потом я плакала, когда меня ранило.

Мы днем их <раненых> не носили. Лишь раз Казанцева вытаскивала Канышеву, и автоматчик ей прострелил голову. Днем мы их клали в укрытие, вечером мы их перетаскивали с помощью бойцов.

Иногда бывали минуты, что жалела о том, что пошла, и утешалась, что не я первая, не я последняя. А Клава: „Такие люди гибнут, а я что“.

Получали письма от учителей, они гордятся, что воспитали таких дочерей. Подруги завидуют нам, что нам выпало перевязывать раны. Папа пишет: „Служи честно, возвращайся домой с победой“ (он врач-ветеринар — Дмитрий Иванович). А мама пишет такое, что прочтешь и сразу слезы потекут... А что я пишу? Не ответила».

Клава Копылова — машинистка:

«Я пишу боевой приказ, меня завалило, лейтенант кричит: „Живы?“ Меня откопали, и я перешла в следующий блиндаж — опять меня засыпало, меня снова откопали, и я снова стала печатать и допечатала.

Если я останусь жива, я никогда не забуду. Ночью бомбят, горит, меня разбудили, в блиндаже, все члены партии меня поздравили — так тепло и хорошо. 7 ноября мне вручили партбилет. А фотографировалась я несколько раз для партбилета, и всё мины били.

Если день тихий, то мы поем и танцуем („Петлицы“, „Синий платочек“). Читала „Анну Каренину“ и „Воскресение“.

Леля Новикова — сандружинница.

«Галя Титова. Подруги рассказывали — она перевязывала, но не вытаскивала — сильно стреляли, бойца убило, а ее ранило. Она встала во весь рост и сказала: „До свиданья, девушки“ и упала. Мы ее похоронили».

«Раненые бойцы больше комиссарам пишут».

«Хотя я немецкий знаю, но я с пленными не говорю — не хочется с ними говорить. Мой любимый предмет алгебра. Мне хотелось поступить в машиностроительный институт. Из 18 девушек-санитаров осталось нас только трое.

Мы хоронили Егорову Тоню. После первого дня боев у нас оказалось нет двух девушек. Мы встретили старшину, и он сказал, <что> она умерла у него на руках; она сказала: „Ой, я умираю, мне больно, не знаю, мои это ноги или нет?“ Он сказал: „Твои“.

Два дня нельзя было подойти к танку, потом мы подошли — она лежит в окопе. Мы ее убрали, положили платок, кофточкой закрыли лицо — мы плакали. Была я, Галя Канышева, Клава Васильева — их обеих нет уже».

«В резерве мы жили с бойцами недружно — проверяли вшивость и ссорились все время. А сейчас бойцы говорят: „Мы нашим девушкам очень благодарны“. Письма получали от старшины роты ПТР. Мы шли со взводом в атаку, ползли по-пластунски рядом. Поили, кормили, перевязывали под огнем».

«Мы оказались выносливей бойцов, еще подгоняли. Ночью дрожишь, вспомнишь дом и думаешь: „Эх, вот дома бы теперь!“».

«Гов. Ортенберг, завтра предполагаю выехать в город — думал сесть писать большой очерк, но понял, что придется отложить писание и некоторое время посвятить собиранию городских материалов. Так как переправа теперь вещь довольно громоздкая, то путешествие сие займет у меня минимум неделю. Поэтому прошу не сердиться, если присылка работы задержится. В городе предполагаю беседовать с Чуйковым, командирами дивизий и побывать в передовых подразделениях. Одновременно хочу вам сказать, что примерно в январе мне нужно будет побывать в Москве — если сможете вызвать меня, премного буду вам благодарен. Дело в том, что я чувствую некоторую перегруженность впечатлениями и переутомление от трехмесячного сталинградского напряжения».

Если поездка моя в город сопряжется с какими-либо печальными неожиданностями — прошу вас помочь моей семье.

Вас. Г р о с с м а н

П Р И М Е Ч А Н И Я

¹ «Сталинский сокол» — газета Военно-воздушных сил Красной Армии.

² Лысов и Трояновский — военные корреспонденты «Красной звезды».

³ Петлюра — водитель легковой машины, принадлежавшей редакции «Красной звезды».

⁴ С. А. Толстая-Есенина. О ней см. в первой книге настоящ. тома, стр. 632—634.

⁵ Михаил Петрович Петров — генерал-майор, Герой Советского Союза, командующий 50 армией; Николай Александрович Шлягин — бригадный комиссар, член Военного Совета 50 армии. Осенью 1941 г., когда армия с боями выходила из окружения, они оба погибли (см.: А. И. Е р е м е н к о. В начале войны. М., «Наука», 1965, стр. 374—381).

⁶ В этой книжке большое место занимают записи, связанные с посещением частей и соединений, о людях которых собирался писать Гроссман.

⁷ Здесь и ниже автором внесены в записную книжку отрывки из его писем к Д. И. Ортенбергу, тогдашнему ответственному редактору «Красной звезды».